

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

**ИЗ КНИГИ
"ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
1993-1991**

НА ЖИЗНЬ БЕДНЕЕ...

Ивангород. Таможня

А мне, представь, совсем не жаль империи.
Обидно только, что чины столичные
шагами петушиными отмерили
дистанцию. За линии граничные
нас развели. Но в их дуэльном кодексе
ни слова нет о памяти надежного;
и сам себя увидишь вдруг в "Ноорусе"
с подругою, влюбленно-заполошного,
ну да, в знакомом закутке Эстонии...

...Служивый в курточке широколиственной,
не жаль империи, пойми, но жаль истории
своей – ни чьей-нибудь еще – единственной.
Пятнистый мой, в фуражке нахлобученной,
оценишь ли, спросонья заторможенный:
я счастлив был там – за речной излучиной,
я молод был за той чертой таможенной.

Кому же мы так сильно не потрафили,
что здесь торчим весь день у ограждения?
Не жаль империи, твержу, жаль географии
и топонимики, привычной от рождения.
Но ты, солдат, оставь надежду дикую:
я не рвану незванным и непрошенным...
Одна душа – Контрабандистка тихая –
на берег тот перелетит безошлинно.

* * *

Ты помнишь ли тот поезд летний,
так медлящий у переправы;
и женщины десятилетней
оценивающий взгляд лукавый?

О, как прищурилась надменно
и как смешно надула губы!..
Что ерзаешь, попутчик бедный,
вихрастый одногодок глупый?

Там – далеко – в том дне горячем
дуэлью взглядов торопливых
легко пунктиром обозначен
был ряд возможностей счастливых.

Из них и самой малой части
на жизнь хватило бы с лихвою...
Ах, только в детстве волны счастья
окатывают с головою.

Как пахнет дома после лета!
Кто лепит эту радость, память
из воздуха, из ничего, из света,
плеснувшего сквозь тюль на скатерть?

Когда-нибудь, спустя столетье,
я вспомню, вспомню без сомненья
и оценю мгновенья эти
и невозможность повторенья

случайной встречи бесполезной;..
И – не пугайся слов, бледнея, –
когда умру, я не исчезну,
а стану лишь на жизнь беднее.

* * *

А. С. Кушнеру

На полустанке дальнем в день обычный
носов текущих и охрипших глоток
мне показалось: как-то неприлично
я выгляжу среди окрестных теток –
барчук в бурлацкой жилистой артели.
(О, выйди на Волгу! Чей там стон над Волгой?)
Нагруженные саночки скрипели
так нудно, так пронзительно... Так долго

тянулось ожиданье электрички.
А их, с кошелками, все прибывало...
И отсыревшие ломались спички,
и тлеи беломорины устало;

и день сникал на горизонте грязном,
придавленный осенним небом черным.
И я сказал под шепоток заглазный;
вернее, я подумал, огорченный:

"В одной прифронтной как будто зоне
мы все живем, коняги-доходяги...
Зачем вы так глядите посторонне, –
ведь я из той же гибельной ватаги.

Смотрите, вот рюкзак, а в нем картошка.
Мне так же не до жиру, быть бы живу..."
Э-э, усмехались, – это понарошку,
рюкзак-то, вишь, не нашего пошиву.

Станция метро "Владимирская"

Слушай, шагаешь себе и шагай, и назад
нечего больше смотреть – там одна шелуха:
просто Лукуллово пиршество, просто разврат;
праздник Деметры в чертогах ВДНХ, –

там, где пастух и свинарка былинной поры
гордо любили друг друга и КПСС;
там, где катались могучие в масле сыры
и кренделя золотые валялись с небес;

нельма плыла, плавники прижимая к бокам,
добрый Похлебкин заваривал чай на заре...

Ах, кое-что перепало когда-то и нам:
раки свистели шеглами на ближней горе

и приглашали голодных на званый обед...
Надо же, сказочка эта живет и живет;
гастрономический сытный, с отрыжкой, бред
сопровождает во всех голодухах народ.

Вот по кувшинам грузин разливает вино.
Вот двухведерный узбечка вскрывает арбуз...
О, нерушимый Союз! Все забудется, но
не позабудется дыни чарджоуской вкус.

Память длиннее, чем жизнь. А жизнь коротка –
не успеваешь привыкнуть к тюрьме и суме.
Сколько мы прожили жизней, Деметра, пока
в этой, очнувшись, не повредились в уме?

Прощание с броневиком

Броневик, броневик, бронтозавр доисторический,
сколько ленинцев юных клялись у священной брони!
Ты похож на дурацкий тот гроб супрематический.
Говорят, что ты болен: уже сочтены твои дни.

Как с цветами вокруг неуклюжие сверстники топали –
помню; помню апрельскую жижу и слизь...
Представляю, как ты громыхал по брусчатке Петрополя,
и мясистые щеки твоих комиссаров тряслись;

как они там потели, в скрипучую кожу обряжены,
словно отроки те бесподобные в медном быке...
Что за жуткая вера ютилась в жестянке загаженной,
провонявшей бензином и порохом!

Вот вдалеке
показался нелепый, смешной, на платформу погруженный.
Ну, куда же теперь? На Финляндский, быть может, вокзал?
То ль презрительно "Кировец" фыркает, то ли сконфуженно.
"Правнук – Прадеду", – я бы, прощаясь навеки, сказал.

* * *

То ли дело раньше – чай да пряники
на работе да кромешное вязание.
Что случилось? – наши дамы, наши паиньки
превратились в бизнесменов по призванию.

Кто ж ты нынче – дилерша свободная?
("бандерша" все на язык мне просится.)
Слово "брокер", словно пупс, безродное,
как с твоей улыбкой соотносится?

Вот нахмурилась над коносаментом.
(Ах, шитье теперь навек заброшено)
Все шифирь одна сплошным орнаментом
по канве судьбы уже изношенной.

И не скажешь, что ташили волоком;
бросили ловить рыбешку мелкую...
Так о чем шептаться нам под пологом
этой ночи, отдающей сделкою.

Горе мне, увы мне. Нет пристанища.
Разорвусь от собственной безгрешности...
– Ты о чем? – о, как глядит непонимающе,
дескать, есть дела важнее нежности.

Одесская элегия

Я никогда... Повтори, не надеясь на чудо, –
я никогда, говорю, не вернусь в этот город портовый,
не возвращусь, говорю, никогда ниоткуда
в этот любимый, лукавый, в этот веселый, фартовый.

И никогда не спушусь, по ступенькам прошаркав,
к той – за кустами – полосочке аквамарина...
На Лонжероновском спуске ночами не жарко.
Как он похож в темноте на какой-нибудь спуск с Палантина.

Как все похоже на все... И исполнение смысла,
может, двойного, тройного, привычного нам с колыбели.
Будто бы Цезарь меня из Империи выслал,
будто живу потому я не там, где мне боги велели.

Нет, не вернусь никогда в старый дом на Канатной.
Кто меня ждет у дверей на венском расшатанном стуле?
Если бы знать... Но ведь нету дороги обратной –
самый последний с газеткой в руках уснул на Примбуле.

Как все похоже на сон. И никто нас не слышит
за океаном, за Тибром, за Иорданом, за Летой...
Римский изгнанник все пишет, и пишет, и пишет...
Горше всего, что ему ни за что не дождаться ответа.

Это, наверное, южная кровь баламутит –
тянет эпистолы слать и надеяться, и волноваться...
Ужас весь в том, что никак не добраться до сути;
и безысходность – в том смысле, что некуда больше податься;

и очевидность: уснувший под сенью каштана,
не дочитавший газетку свою, уже не проснется...
Смерть, несомненно, порядочней Октавиана –
ссылка бессрочна, Овидий, никто никуда не вернется.

Маяковского, 25

Ну вот и ты отходишь на задворки
непрочной памяти... глянь, и растаешь вскоре –
простимся, время управдомов зорких
и дворников в скрипучем коленкоре.
Простимся, время кодексов крылатых,
шаров молочных в скучном классе тесном...
И крыши от восхода до заката
малиновые, в сурике железном, –
простимся.

Безвозвратные пивнушки,
иваны бровкины, и голубиный всполох,
и в белых блузках строгие подружки,
зубрящие в своих заочных школах –
простимся.

...Но янтарный вкус черешен...
но свет сквозь шторы... но уже светает... –
простимся? Я не знаю, в чем я грешен,
но знаю, что безгрешных не бывает.

И не о прошлом я – о настоящем...
Но там, где каждый – сам себе историк,
там тетя Вера в фартуке гремящем
все, знай, метет наш образцовый дворик.

На Воробьевых горах, размышляя о профессии

Мне снился Витберг и его громады –
к чему бы это? – точное число
висячих арок; роша колоннады...
Вот бред!
Когда не кормит ремесло,
когда друзей по свету разнесло, –
что делать нам?

Не то, чтоб на холме
растущий храм – часовенку бы мне
досочинить позволь... (о, малость лепты!..)
Бедняга Витберг! Из тюрьмы вовне
взгляд исподлобья – вот его прожекты.

И мы – заточники пространств глухих,
невыносимых и необоримых;
заложники тяжелых снов своих.
Где наша мысль? – в каких курчавых римах?
на площадях, на форумах каких?

Как грустно ночью на Москва-реке.
А, между прочим, у моста в ларьке
еще торгуют иноземным спиртом...

Но вот опять явился – в колпаке
ночном, в шлафроке дурно сшитом
портным из местных; с циркулем в руке –
вот Витберг в Вятке. Вот четыре "В" –
произнеси, язык ломая, ну-ка –
четыре кряду; вот четыре лука
натянутых: сума, тюрьма, разлука
и смерть.
А жизнь стоит на голове.

Ты грезил мерой, смыслом, а теперь –
валяй, что хочешь делай, но без фальши:
дуди в трубу, торгуй в ларьке; поверь
всю жизнь дотошной алгеброй потерь,
и сам себя сошли куда подальше.

Обратный отсчет

Что за гомон и гам за окном! – ум заходит за разум –
без цезур и без пауз; из писка, и склянок, и звонов
день сегодня устроен, как будто взбесились все разом
воробьи, и трамваи, и сцепщики ржавых вагонов.

Что ж, поддержим настрой разговором вполне бесполезным:
понимаешь ли, стыдно и поздно идти на попятный,
перекраивать жизнь, когда нам уже в ЦУПе небесном
как-то исподволь, тихо отсчет начинают обратный.

"Десять... девять... Что дальше?.. – ни элина,
ни коммуниста...

Херувим, сублимация гордости национальной, –
космонавт невесомый в одеждах своих серебристых, –
помню, помню твой жест из неведомой дали астральной.

...Девять... восемь... Что дальше? Лети же, доверившись чуду.
Мы из комы вернулись – поздравим друг друга с удачей.
Но когда нас не будет, а все остальные здесь будут?.. –
нет, мой опыт мистический меркнет пред этой задачей,

нерешаемой в принципе, то есть неразрешимой...
Нынче день невозможный: сплошные рулады и трели,
и нелепость к нелепости лепится в ряд неделимый.
Вот и кофе сбежал, черт возьми, и олады сгорели.

Восемь... Семь... Но послушай, апрельская клеится завязь;
и обратный отсчет – это годы и годы, наверно...
и чего не успеешь – душа доберет, пробираясь
в тридевятое небо по склонам пространств многомерных.

ВЕЧЕРНИЙ ВЗДОР

Колыбельная

Я хотел бы написать что-нибудь такое длинное-предлинное
в духе Бродского, возможно. Романтически-былинное,
иронично-элегически-дурманное
и эзотерически туманное;

буколическое, сугубо дактилическое;
откровенно дактилоскопическое;

с дуновением легчайшим неприличности,
с нарушением всяческой причинности,
с переходом, может быть, на личности,
и с лишением кого-нибудь невинности, –

Чтоб сказали: ну и тягомотина унылая –
до конца строфы заснешь пять раз; ну, тип попался.

Вот и славно, вот и спите себе сладко, милые.
Этого-то я и добивался.

Гуляя с дочкой по Кремлю

Пушка не выстрелит. Колокол не зазвонит.
Птичка не вылетит – шторку заклинит в "Зените"
Дочка заинтересованность изобразит.
Я наступлю на кота и скажу: "Извините"

Странно, откуда здесь кот? Кто его пропустил
в сей заповедник бесцельного, скажем, металла?
Колокол.– Что? Как звонил? Да никак не звонил.
Пушка?.. Да нет, да она никогда не стреляла..

Это ядро вдесятером не поднять.
Звонница рухнет под тяжестью гулкой громады...
Но, очевидно, здесь можно мышей погонять
в темном и пыльном подклете секретного склада.

Видишь ли, дочка, масштаб этот труден для глаз;
в этой стране даже глупость и та неохватна...
Колокол, пушка... – все это понятно для нас.
Мне лишь явленье народу кота непонятно.

Вот притулился к ядру, полосатый нахал,
шнырь желтоглазый, разбойник, мохнатые ушки...
Шведский турист озадаченно бровь почесал:
то ли кота никогда не видал, то ли – пушки.

Морской бой

Поставлю эти в ряд, а эти – по углам;
мой замысел поймет не сразу снайпер меткий.
Один тупой линкор не гнется пополам,
и как его вписать в четыре жестких клетки?

Ну, ладно, не линкора. Да как ни назови –
не в Порт-Артуре мы, не в Трое, не в Антибе...
Что ж, начинай игру, мой грозный визави,
где понарошку бой и понарошку гибель.

Топи бумажный флот; умножь его на нуль,
расстреливай в упор недрогнувшей рукою...
Когда-нибудь и ты... буль-буль..., и я...буль-буль
два взрослых дурака – пойдем на дно морское.

Так что ж, мой адмирал, взгляды в эту даль?
Покуда время есть, пока смешны угрозы –
и славно! – никого всерьез еще не жаль;
все беды впереди, все почести, все слезы.

Поэтому – приказ: снарядов не жалеи!
Б-9. Молодец! Убита субмарина...
Бесповоротна жизнь. И список кораблей
кто может прочитать хотя б до половины.

* * *

Вот когда забудешь вдруг науку выживания,
выдастся нечаянно в дебрях января
просто день, и нет ему особого названия
среди прочих дней календаря.
И когда не вспомнишь, что зима опять бесснежная,
что опять гриппозные шмыгают носы, –
выпадет забота, как забава, нежная,
вроде заплетания косы.

О, волной тяжелой плещущие волосы!
Как-то не по возрасту они густы...
В три ручья ревом и плачем на три голоса,
разделяя русые пласты.
Три струи попробуй удержи волшебные, –
как три власти – не сплести в единый хоровод...
Вот законодательная прядь, а вот судебная,
шибко исполнительная – вот.

Господи, о чем я? Прямо скажем незначительна
ассоциативная эта глубина.
...Жизнь дается... говорят... чтобы не было мучительно...
за бесцельно прожитые... Чем одна
ко голова забита под бурчанье телика?
Как же мы привыкли к этой ерунде!
Вот такая лирика у нас, такая мелика,
эпика такая и т.д.

* * *

Я все думал, откуда же эти стамески, зубила;
эти стелы бредовые, потные кукиши эти?..
Так себя украшают потенции знаками,
силы все империи в мире накануне распада и смерти.

Перед фаллосом грозным узнаешь, чего же ты стоишь,
и поймешь, что тебя от рождения в чем-то надули,
и замрешь воробышком жалким, и глаза закроешь,
оцарапав сетчатку о грань выдающейся дули.

Навтыкают по всей вот земле от края до края, –
дескать, мы еще ого-го!.. – что-то в этом вот роде...
Не дрожи, моя милая, это же, просто пугая
добродетельных, немощь прошальные игры заводит.

Да, фрейдистские сны и великие страны морочат, –
не с того ль это вдруг впопыхах переносят столицы?..
Не дрожи, – пока старцы слюной подбородки омочат,
искупаться успеешь, хламиду накинуть, укрыться

в тростнике: в ближней роше, в глухой коммунальной квартире,
в продуваемом домике в Чаше какой-нибудь, в Пуше...
Не дрожи. Умирают, твержу, все империи в мире;
оппадают их символы к вящей усмешке живущих.

* * *

...А на трапе уже сдуло шляпу с Ильи порывом свинцового ветра;
замечательно круглую шляпу из черного жесткого фетра;
и она унеслась в безвоздушную мглу реактивным снарядом...
"Иордан перешедши, о шляпе не плачут!.." – сурово сказал кто-то рядом.

Иордан!.. "К белорунным ручьям Ханаана плыть мы будем..."
Неистребим совковый наш романтизм, где "все остается людям", –
то-то радость тому, кто найдет эту шляпу на косе у залива...
Были сборы так долги, а прощание – так торопливо.

Так поспешно, мякину обыденных слов прожевав, у барьера
вдруг Бердяева вставил зачем-то для дурного примера –
недоспорили, что ли?.. Впопыхах и обняться забыли.
А на взлетной уже полосе рев моторов и бурунчики пыли.

Что ж, отыщем глазок-с-ноготок в железобетонной ограде;
подглядим и запомним, и когда-нибудь вспомним некстати;
вот друзья отлетают мои. Вот их шляпы сбиваются в стаю;
Вот и сам я, как облачко легкий, все болтаюсь по краю...

Стихи о Гоголе для журнала "НАШ СОВРЕМЕННОК"

Чуден Днепр при тихой погоде... и редкая птица
долетит до его середины. А если случится
этой птице до этой его середины добраться
– пол-России сбежится порадоваться, посмеяться.

А еще про Тройку, я помню, наизусть мы учили.
Вот промчалась она и скрылась за облаком пыли.
Что там тройка, когда сплошные колы да двойки...
И какой же русский не любит доброй попойки!

Чуден Днепр! Ну, а Гоголь гораздо его чуднее.
Он в Италии чудной жил куда как беднее,
чем в России бедной, но при этом друзей своих чудных
он учил православия в письмах длинных и нудных.

В общем, чудный был патриот. И, между нами,
не любил он евреев и называл их жидами.
А потом он спятил, поэму сжег в одночасье.
А потом он умер, и это большое несчастье.

Даже Пушкин, на четверть арап, не удержал слезы:
"Закатился Гоголь, – сказал, – солнышко русской прозы"

Разговор с Н.Н. о психоанализе

Как-то однажды встречаются Фрейд и Юнг,
скажем, в трактире, скажем за общим столом.
Один из них стар, другой – безнадежно юн.
Впрочем, возможно, это не Юнг, а Фромм.

В общем, встречаются как-то Фромм и Фрейд
И задают друг другу старинный тест.
"Who's afraid of Virginia Woolf,.. Who's afraid..."
Впрочем, это из области общих мест.
Дальше не знаю... Скажем, едят свиное рагу...
Можешь сама продолжить этот рассказ...
Цвет твоих глаз я вспомнить никак не могу
Вот что важнее всего – цвет твоих глаз.

Впрочем, и это неважно, когда ты тут,
рядом, у сердца... (Так серый иль голубой?)
Лучше давай о том, что дети растут
слишком поспешно, пока мы стареем с тобой.

Дети растут. Мы стареем. При чем здесь Фрейд?
Я понимаю игр одиноких грусть.
Сотни у нежности слов, похожих на бред.
"О, не боюсь Вирджинии Вулф, не боюсь..."

Юнгу – да Бог с ним – юнгово, ну а нам,
что остается, помимо темных забав?.. –
бессознательно-неудержимое?.. или как его там?..
Как назовем, друг к другу прильнув, припав?

Бессонница

Ночь кончается. Книжка прочитана. Где-то
первый нервный трамвай пробренчал за Манежной..
И белесая муть оседает к рассвету,
и дома проявляются в сепии нежной.
Гимназистик сутулый в шинельке суконной, –
по Гороховой прямо! – Какие потери
ждут еще за углом?.. Только память бессонно,
как котенок слепой, будет тыкаться в двери.
Но получишь взамен драгоценное зренье...
Знаешь, вот и меня раздражали когда-то
у Набокова – это его отчуждение,
невозможность и невыносимость возврата,
эта верность шенячья разлуке извечной...
...Ночь кончается. Траурной дымной каймою
обведен горизонт. И, конечно, конечно,
все романы кончаются смертью героя.

Аудитория №7

1.

Под чутким взглядом Ломоносова –
такого нежного, курносого;
такого важного, вельможного;
такого – в буклях – невозможного;
в кружавчиках такого бледного
и ненадменно-гобеленного...
Под взглядом этого отца,
а также дедушки и прадеда
сiju я, робкий, как овца,
и мну тетрадку, а в тетради-то –
все те же ямбы без конца.

Но дедушка российской нашей мудрости
моей не замечает скудости.
Он понимает, наш прелестный Ломоносов,
что и у нас ответов меньше, чем вопросов,
и нам чрез три почти столетия
не чуждо смальты разноцветия.
Он смотрит, добрый, вдаль через века
и видит там не дурака,
тетрадку мнушего, сопяшего,
а видит он пиита настоящего
и улыбается слегка
(с ученым видом знатока).

2.

А еще – там ковер-самолет-быстролет.
На ковре том чудесном ткемали цветет.
И какие-то галочки, птички, кружась,
нам напомнят персидскую легкую вязь.

Улететь бы из осени нашей сырой,
и зависнуть над солнечной древней страной
и увидеть внизу, как на стыке дорог
со скрипучей арбой повстречался возок.

Так встречаются люди – один на один –
так судьба подгадала, так Бог рассудил;
так – с поэтом поэт, и с абреком – абрек
посмотреть, помолчать, разминуться навек.

...и уляжется пыль, и вокруг тишина.
А в Тифлисе красавица плачет жена.
А в Тифлисе – апрель, а в России – январь.
И совсем не случайно все врет календарь.

И совсем не случаев вечерний наш вздор.
И не там, где взлетел, опустился ковер;
и у края ковра все поэты сидят
и друг другу читают стихи невпопад.

**Из книги
"ПРАЗДНИКИ"
1990-1986**

ПОД КАКИМ НЕБОМ?..

**Лене Миндлину,
Сан-Хосе, Калифорния, США**

А еще известно: нельзя дважды войти в реку.
Но мы входим, дрожа от холода, от страха бледнея.
И куда нас несет наперекор миру и веку,
вопреки смыслу куда влечет слепая идея?

Что ж, можно было бы попытаться, но, кажется, поздно.
Жизнь сильна своим непрерывным, тягостным продолженьем.
Под каким небом первого дня очнешься грозным
с незнакомым знакомых созвездий расположеньем?

Под какой крышей – бетонной, может? пальмовой, может?
В термитном домике невесомом на сваях непрочных?
На сто-черт-знает-каком этаже? Что же
нам ждать от бреда нашего, снов полночных?

Может, и правда, плюнуть на все: не родовой же вензель –
в заклад?.. Забыть, забыться, слинять, всех одурачить.
Да не уйти от "великого и могучего", задроченного донельзя
Тут у нас почти все уже говорят: "нАчать".

Из цикла "НОЧНЫЕ ПОЕЗДА"

1. Переводной дурак

И книжка так себе – роман переводной,
и сон... Какой тут сон – и глаз-то не закрыть!
Внизу счастливый смех, и вот очередной
skonфуженный дурак выходит покурить.

Они меня зовут в компанию свою.
Скажу – спускаться лень и свойский делать вид.
"Мне сверху видно все..." – дурачась пропою:
вот эта в бигуди – с шестерками сидит;

у лысого – туз пик и козырная масть;
а этот простачок – темнил, темнил... и влип.
И голову задрал, и подмигнул, смеясь.
Так искренне меня жалеет этот тип.

И как не пожалеть – живу, черт знает как,
в немыслимой стране, где всяк друг другу брат.
Не стрелочник ли я, переводной дурак,
который изначально в чем-то виноват?

...переводной дурак... посольство в Сомали...
...и что-то там еще... нет, в слово не облечь,
как будто на чужой язык перевели
полночных игроков бессмысленную речь.

При чем тут Сомали? Все это не про нас.
У нас здесь визг и смех, туз треф, шестерка пик...
Вот стрелку в темноте переведут сейчас,
и не поймешь, куда влетишь, в какой тупик.

2.

Какое-то поле пустое." Ни слухом, ни духом
не ведаю, где мы застряли. И спать расхотелось.
К тому ж этот голос, спросонья хрипящий, над ухом:
"Да, где ж, черт возьми, Бологое? Куда оно делось?"

А где Бологое, действительное, где Бологое?
Где грохот и лязг; ревизора фонарик слепящий?
...Напротив, бессонное, грезит семейство святое
с тугим чемоданом, с младенцем в концерте сопяшим.

А где их Египет забытый, в котором укрыться
труда не составит; где тот полустанок дремотный;
бревенчатый домик, скирда, жестяное корытце,
смолистые запахи плотницкой знойной работы?..

Мы все, очевидно, когда-то проехали мимо
и встали в пространстве немом, огражденном дугою рассвета.
И голос за стенкой бубнит нестерпимо:
"Да где ж Бологое, скажите мне, где Бологое?"

Ну нет его, нет. За стеклом грязно-желтое небо;
равнина волнистая, топкая даль без названья –
рисунок какой-то страны, где никто из нас не был,
которую кто-то придумал нам всем в назиданье.

3.

Там, где карты, там цыганки; где цыганки – там любовь...
Тру-ля-ля!.. Эй, молодой, вы позолотили
лапку смуглую? За это вам для рифмы будет "кровь",
а на дальнюю дороженьку – вам горстка ржавой пыли.

В грязном тамбуре замшелом что за шум и гвалт стоит!
Ах, у дамочки кольцо, сережки с бирюзью...
Все отдаст сейчас цыганкам, не врубаясь в их санскрит
молдавский, в горловое это пенье со слезою.

Что, курортница, бедняжка? Что "зачем"? Что "почему"?
Получила, что желала – так на кого же злиться?
Ни в Бернгардовке нет рая, ни в Вендорах, ни в Крыму, –
но везде вольготно птицам райским петь и веселиться.

Помню, тоже мне гадали: темный дом, казенный путь;
для души тебе, милоч, – слова, слова, словечки.
А на кой?.. – А я не знаю. Пригодятся как-нибудь –
вместо нежной чей-то щечки, вместо печки, вместо свечки.

Помню, тоже мне кричали: труля-ля да тра-ля-ля!
Сто дорожек пред тобой – ну, выбирай любую...
И по бедности тогдашней мне хватило и рубля
на гадание глухое, на судьбу мою слепую.

Из цикла "КОГДА БОЛЯТ ЗУБЫ"

1.

Как трясет, как мотает! Я в шарфик уткнулся щекой...
Ничего бы не видеть... Как ноет, как тянет, болит!..
...Вот и Дом с буквы "Б", этот билдинг, бандюга...
Постой, я здесь выйду пройдуся, посмотрю на кровавый гранит.

Где-то бабушка здесь... где-то бабушку... тут... под землей...
Это кто – незаметный, весь в сером, торчит впереди?
"Свой-чужой?" – весь расклад на обыденной роже. – "Не свой!"
А прищур-то, прищур! – "Не отсвечивай тут. Проходи.

Кто таков? Наш-не наш?" Да идите вы к черту! Не ваш.
Ваши кожей вонючей скрипят и стреляют с руки...
...Никогда не спущусь на подвальный четвертый этаж,
на проклятый этаж, где бетонные стынут лотки.

Но представлю зачем-то ее беззащитный висок.
И наследница славных сакральных традиций ЧК
я увижу, – как с пятки покачивается на носок...
раздраженье на шее от строгого воротничка...

...и рука поднимается... Боже, закрой мне глаза,
оглуши, ослепи, но убей навсегда этот страх!
Или дай, как собаке, чтобы раны ее зализал,
или дай, чтобы вынес оттуда ее на руках.

Как болит, как зудит! Что потомок карийского дна,
ты еще удивляешься страшным признаньем, герой?
Ты бы сам им все выложил, может быть, ночью со сна,
бормашины заслышав арабский ступенчатый вой.

2. *Компиляция*

"Здесь мир стоял простой и целый... "
В. Ходасевич

Скребок зашкрябал по асфальту,
под ногтем пискнуло стекло
и фановой трубы контральта
в мой мозг вонзилось, как сверло;
пила, визжа, вошла в осину,
под окнами мотор взревел
и по доске невыносимо
мелок скрипел, мелок скрипел.

Когда-то девочка Психея
с улыбкой светлой и шальной
сняла боль мою шалфеем
и легкой птичьей болтовней...
Я все забыл – вот наказание! –
не помню губ ее и глаз,

и лишь бубню как заклинанье
в который раз, в который раз:

"Я забываю... я теряю...
Психею светлую... бу-бу..."
К щеке платочек прижимаю
и тихо трогаю губу.
"Здесь... зуб стоял... прямой и целый...
но с той поры.., как Бог не спас...
во рту... и в мире есть пробелы..."

...В аду, должно быть, децибелы
визжащих пил достанут нас...

Когда б я знал... Да что об этом!.. –
упасть в разверстую кровать;
бубнить, зудеть, скулить фальцетом
и никого не узнавать...
На стенку лезть!. Что остается,
тоскливый подводя итог? –
все ВЕЧНОСТИ ЖЕРЛОМ ПОЖРЕТСЯ,
Визжит пила. Доска трясется.
Скрипит, скрипит, скрипит мелок.

3.

На двадцатой заснуть... и на сотой проснуться странице...
Черный бант, голубые глазища... Ну, как не влюбиться
в чик-чирик этот слабенький, в сладкие эти напевы?..
Ах, не лучше ли там – под присмотром Святой Женевьевы?
Не спокойней ли там – где-нибудь в Браунлаге и Ницце?

Кто из нас иностранец? Быть может, мы все иностранцы.
Эти шляпки, сударыня, туфельки, бальные танцы;
эти строчечки, букочки; щебет в кустах до рассвета –
нескончаемо все, обожаемо, трижды воспето.
А под боком уже снаряжают солдатские ранцы.

"Он сказал... Я сказала... И Гиппиус молвила что-то..."
Все слова да слова; разговорчики за табльдотом.
Ни беды, ни вины, ни навязчивых страхов острожных;
и война – это просто нехватка конфет и пирожных.
...И повторы... И бант надоевший... И эти длинноты...

А в пропащей стране, по которой с печалью прелестной
вспоминалось некстати; в забытой уже, неизвестной,
в той несчастной стране вдалеке от Луары и Сены
миллионы плечей подпирали кирпичные стены.
И любой разговор превращался в допрос перекрестный.

А в забитой стране... Впрочем, это о темном, о кровном
первородстве глухом... Но страницу откроешь и, словно,
две страны, две истории... Общее – только название.
Боже мой, если вдуматься, – кто же нас учит страданью? –
птичка в клетку влетела и прочирикала томно.

На курсах гражданской обороны

1.

Что за скука зеленая, бурая, боже ты мой!
Но полковник речист, не полковник – а прямо Сен-Жюст.
Он речист и плечист и такой неподвижно прямой,
что торчит на трибуне фанерной, как собственный бюст.

Он не машет руками, не трогает гипсовый лоб;
он твердит и твердит нам о жутких каких-то вешах.
Что за страсти, почти Иоанновы: каменный гроб
ждет нас огнеупорный. Что за страсти, шепчу, что за страх!

Мой сосед что-то пишет в тетрадке... Забавный какой!
Я таких замечательных замшевых, плотных ушей
никогда не видал... Командирский затылок тугой...
Только вякни попробуй – и вытолкает взашей.

Вот нам олухам вводная – атомный взрыв на ЛАЭС.
(Что ж он пишет в тетрадке своей?.. Так усердно сопит...)
Как послушаешь этих господ в униформе и без, –
каждый знает, что делать и, конечно же, нас защитит.

Распорядок спасенья кто бы выучить мог, зазубрить?
Этот, верно, спасется – усердный – его не пронять
страшной сказкой, не взять на испуг и за фук не купить.
Ну а ты, недотепа, останешься молча стоять,

жирный пепел сжимая в руке. Ты останешься здесь,
ожидая сигнала трубы за ближайшим углом.
Бледный конь... Белый всадник... Глотай же смертельную смесь...
Лишь детей мне и жаль. Остальным, может быть, поделом.

2.

За рассказом следует показ...
Что за превращенье – вот-те на! –
девушка, надев противогаз,
нам являет дятла и слона

помесь невозможную. Какой
гадкий и трагикомичный вид:
там, где локон вился золотой –
там резина мерзкая морщит.

Нас окурят. Вас окурят. Всех,
всех в брезентовой палатке охмурят
и удушат под беспечный смех
востроглазых красных дьяволят.

Нас не станет, вас не станет, их,
никого... Один цветущий ад –
воплощенный сказочный триптих:
Питер Брейгель, Босх и Грюневальд.

Кто там – в джинсах – крутит хоботком?
(Где он прячет свой облезлый хвост?..)
С матерком веселым, с хохотком
на последний волокут допрос. –
Будь готов! – кричат.
– Всегда готов!
Страшный сон – еще не Страшный суд...
Не тебя ли, бедный мой Кристоф,
на носилках бледного несут.

Телесеанс психотерапии

Все болящие телом и духом, кому воскресенье
обещает надежду, придите – вкусите покой...
Ах, как хочется верить в чудесное исцеленье,
ах, как хочется, хочется в такт помотать головой,
и на вкрадчивый голос откликнуться.
Вот и готово
чудо, вот и свершилось, вот и пуста голова.
И банальность уже не банальность, а некое Слово
свыше, что ли, оттуда, где только и есть, что слова.
Ну а мне, что мне делать с тоскою своей и неверьем?
Легче, право, верблюду в игольное ушко, чем мне –
в забытье это сладкое, в эти ватные двери...
Я и так уже лет пятнадцать живу как во сне.
Отчего-то всегда эта мистика в души стучится
на изгибе времен, в переломные трудные дни.
О, я знаю, я знаю, что дальше со всеми случится:
те, кто верил, – заснули. А утром проснутся они –
и пошло, закрутилось: и ужасы вдруг по дороге,
и столетний вскочил паралитик, весь белый, как мел;
и увидел слепой, и вприсядку пустился безногий.
И рассыпался каперс. И кузнечик отяжелел.

Письмо в Грузию

Снова апрель по холмам и дорогам буйнит;
белым и розовым цветом заносит селенья...
Здравствуйте, Как вы там, Гия, Манана и Нани?
Я опоздал, мои милые, – нет мне прошенья.
Я опоздал. Не услышал. Не понял, что где-то
рядом, у сердца, всего в двух часах перелета
все решено под покровом штабного брезента,
и начинается грязная злая работа;
и выдаются лопатки саперные детям
глупым, усердным, свинцовою чушью набитым...
Правда ли это, – что кто-то укрылся в Кашвети,
но и на паперти кровью помечены плиты?

Что это – подлость, Манана? Безумие, Гия?
Душит и душит, как сон неотвязчивый, жуткий...
Что ж это все-таки было? И кто мы такие,
если весну нашу можно прихлопнуть за сутки?

Красными черную площадь укроют цветами;
черной каймой обведут этот месяц проклятый...
Где вы, друзья? Отзовитесь. Я с вами, я с вами!..
Нет мне ответа. Нет мне прошенья. И нет мне возврата.

ПРАЗДНИКИ

1 Мая 1993 года

Что за дикий май стоит в этом году! –
Все с ума последили от внезапной жары:
так привычно в дреколье дружка на дружку идут, –
что-то вроде пустой забавы, скажем, игры.

Ничего себе игры! Когда заступал в наряд,
и когда натягивал душный бронезилет,
разве знал тот мальчик, что не вернется назад?..
...Им нужна была кровь – она пролилась. И мальчика нет.

На бездомный указ – безумный нашел приказ.
Кто же этот камень в слепую руку вложил?
Несвершенная жизнь кому зачтется из вас,
криворотые лидеры позавчерашней лжи?

Беспристрастная камера все покажет сполна.
О, не видеть, не видеть бы, помнишь, – трусцу и гниль...
Если Бог – идея, идея и Сатана,
а в борьбе идей от людей остается пыль;

и так запросто смерть входит в наши дома,
пока ржавый прут арматурный свистит у виска...
Ничего себе праздник! Все просто сошли с ума.
Вот печаль какая! Какая, мой Бог, тоска.

Троица, письмо другу

Г. Кольнику

Здравствуй, друг мой, я пишу тебе отсюда – сюда,
потому что есть мысли невыразимые вслух;
есть слова невозможные, горькие, как лебеда;
и такие дела, что язык немеет, мертвеет дух.

Ты подумаешь, верно: "Господи, что он несет?"
Не спеши. Ничего, кроме правды. Есть темные дни
утомления крайнего, когда просто все,
все на свете противно, не хочется жить, пойми.

Вот послушай: когда я был высажен... выброшен был,
на пустынный наш берег был сброшен, почти что наг,
я наткнулся, к лесу поднявшись, на ряд могил
(если склад костей можно назвать именно так).

Там стоял экскаватор – чудовишный ихтиозавр
и утробно урчал, и его укротитель лихой,
обернувшись случайно, увидел меня и сказал
удивленно: "Однако откуда здесь взялся живой?"

...Мы курили потом. Он твердил все: "Чертов песок!
Осыпается, сволочь... Не знаю, сколько же их?..
Он поднял желтый череп, хабарик просунул в висок:
– Аккуратно работали, суки! Навылет... Двоих...

И я пальцем провел по грани глазицы пустой: –
Кто он был? Кем он слыл? Никому теперь невдомек.
– Шут, – ответил мне парень, – знает, кто он такой;
бедный Юрик какой-нибудь, Толик, Витюша, Санек.

Сорок тысяч несыгранных судеб под коркою льда...
Сорок тысяч неведомых братьев в яме лежит...
Кто любил их? Кто ждал их? Кто письма писал в никуда?..
На какой же однажды мы спятели почве, скажи?

Ты представь: это я по откосу в могилу лечу,
и стоит вертухай, в приклад упираясь плечом...
Не о смерти, мой добрый Горацио, я лепечу –
все о жизни, о жизни и больше, мой друг, ни о чем.

День военно-морского флота

"Березки подмосковные белели..." – пел старпом:
"...плыла, качалась лодочка..." Но песня не о том.
У нас парад, товарищи. А вечером – салют.
Оркестр гремит бравурное. Дудят, в литавры бьют.

И мальчики румяные – таким сам черт не брат –
на палубе надраенной стоят, стоят, стоят.
И я машу им с берега кепчонкою своей;
и все читаю перечень погибших кораблей;

и в песне нашей горестной о том лишь речь идет,
как атомная лодочка отправилась в поход;
а те, кто шли на ней в поход, лежат теперь на дне
среди моря Ледовитого, на страшной глубине.

Среди моря Ледовитого последний их приют.
У нас под самым полюсом сирены не поют;
волшебного нет острова, где рай найдет душа.
Прощайте, мои милые, братишки, кореша!

...Венки опустят на воду. Возьмут под козырек;
потом в кают-компании раздавят пузырек
стратеги краснорожие – поскольку ветер свеж...
А вам слова расхожие. И никаких надежд.

Медовый Спас

1.

Когда медовыми очами
на нас глядит Медовый Спас,
есть искушенье – мелочами
свести к банальности рассказ;

и от приметы до приметы
брести, качаясь налегке...
Я не об этом, не об этом,
и не на этом языке...

Я не о том, что утром ранним
придет Господь святить плоды;
что август щедр на подаянья,
и всем воздается за труды;

и не о том слепом величьи,
с каким свели в земле одной
евангелические притчи
с языческой болтовней.

Но я о том, что нас надули:
нам обещали день за днем
цветущий сад и зрелый улей,
и вдосталь сот и меда в нем.

Нет ничего. Лишь гроздь ошибок;
засохший воск да ржавый гвоздь...
И ты как будто за спасибо
живешь, надеясь на авось.

2.

А еще мы вспомним Персефону, а еще
не забудем вестников ее крылатых
в темных гротах, где едва лишь выход освещен;
их тяжелый труд с восхода до заката.
А еще в уме мы держим про запас:
между тайной пчел и тайной медосбора,
между тьмою – там и светом – здесь, у нас,
существует связь неявная... Но скоро,
скоро осень, друг мой, и чем ближе к сентябрю,
тем просторней сад и вдумчивей работа.
Эта жизнь тягучему подобна янтарию,
незастывшему, и быстро не терпит счета
дней, недель, даров, рождений и смертей...
Снова Август ходит пасечником строгим
с дымарем, в броне брезентовой своей,
собирая дань и подводя итоги;
созывает пчел в чудной дошатый дом...

Неужели мы когда-нибудь умрем?

День Конституции

С.Заславскому

Эти дачки-курытники с круглыми печками...
Здесь бывая вохра с пуделями-овечками –
не с овчарками злобными; с внуками, чадами
ходит-бродит-гуляет, бряцает наградами.

Здесь не спится, не пьется, и как-то не пишется...
Здесь и пруд неподвижен, и лист не колышется;
здесь туман в октябре и в апреле туманище...
Здесь меня навешают хмельные товарищи.

Им свобода во благо, а мне в наказание...
Маргинальность, Семен, это просто название
кандидатской какой-нибудь там диссертации...

Кто сличил меня? вычислил? и в резервацию
заключил? По какому печальному случаю
я попал в эту дачную зону колючую?

Мы бредем по дорожке – два тихих очкарика,
и чуть тлеют в тумане два горьких чинарика;
и чуть слышно приемник, как ходики, тикает;
чей-то внучек способный на скрипке пиликает.
И висят на веревках рядами державными
плаш-палатки и френчи с подтеками ржавыми.

Рождество

1.

Когда раскололась земля и сантехник Привалов,
зло матерясь с недосыпу, шагнул к провалу,
он, бедолага, на своем пути к преисподней
и думать не думал о славе и силе Господней.

Так вот рисуют сошествие в ад богомазы:
острые грани разлома, багровые стразы,
черный испод... Но Христос, сдается,
едва ли знал что-нибудь о разрывах теплоцентрали.

Начальник участка неделю уже ходит пьяный.
Ему все мерещатся гнойные язвы и раны,
ожоги третьей "Б" степени, облезшая кожа...
Привалов, конечно, ангелом не был... Но все же,
за что ж его так, шагнувшего в бездну отважно?..
Начальника, верно ждет суд не Страшный, но страшный
тем, что в конце – на исходе кромешной ночи,
когда труба позовет, никто и не вскочит.

Так думаю я – свидетель защиты случайный –
никто не встанет, никто не раскроет тайны
о том, как мы жили грешно и умирали нелепо
под нашим, в свишах и кавернах, чугунным небом.

2.

Прозрачные призмы с наклейками "Ugolini",
и сочное фото – лоток с виноградом и сливами...
Вот так, среди зимы, где-нибудь в овощном магазине
Флоренция вдруг выплывает с ее перспективами.

Как сокомешалка латинская крутится плавно!
О, это веселое свойство поэзии – взбалтывать
и мякоть со дна поднимать, не заботясь о главном,
и смыслы искать, и чужие секреты выбалтывать.

Зеленые воды и белые стены. Картина
так близко к глазам, что и яркость и резкость теряются.
А где же та башня, скажи, бедный мой Уголино?
Везде и повсюду. В прогрессии все повторяется.

Прогресс очевиден. И любвеобильный наш агро
промышленный комплекс нам горы сулит мармеладные,
чтоб мы, наконец, позабыли симптомы Пелларга,
баланду тюремную, горькие пайки блокадные.

И, может быть, станем мы равными доброму богу...
Но все в перспективе веков, как в портале готическом –
повторы... Потерпим еще, Уголино, немного,
о камни разбив кулаки в исступленьи паническом?

Ах, все повторяется вовсе не фарсом. Я верю,
что корчился рядом; слюну сладковатую сглатывал...
И не было Бога с его безразмерной форелью
ни в башнях Флоренции, ни в одиночках Саратова.

Старый Новый Год

На тринадцать томительных дней опоздание;
ожиданье того, что уже претворилось
в мишуру, в детский лепет, в чудные гадания,
что сбылось – не сбылось, что к чертям провалилось.

Поклянись мандарином и горлом застуженным –
по какому-то стилю, какому – неважно,
мы, наверное, ряженных вызвали к ужину.
Если нет, – почему же так странно и страшно?

Из открытых дверей тянет водкой и ладаном.
То ли храм, то ли дом, то ли тайная лаза.
Столько здесь набормотано, столько нагадано!
Как не верить нам бабкиным глупым рассказам?

Иль сравнение выстроить с годом тринадцатым,
не забыв только знак поменять на обратный;
иль на улицу выскочить и целоваться там
с первой встречной какой-нибудь...

Но непонятно,
что же с нами случилось в том самом безвременьи,
в промежутке глухом, в закоулке, в прогале?...
Прозевали как будто какие-то веянья
и ветра...

В мишуре, говорю, в карнавале
жили-были. Кормили детей макаронами;
собирали посуду, ругали погоду;
и лечились забавными оксюморонами
вроде этого – Старого Нового Года...

Вспоминай же теперь те полипы, фолликулы...
Погадай на кофейной размазанной жиже;
заложись на бубей... Все на свете каникулы
беспробудной кончаются явью бесстыжей.

26 МАРТА 1989 ГОДА

Вспомнил, когда уже вышел: вдохнуть, не дышать,
свободен. Свободен? Поверьте, пойдите, проверьте...
Органы наши внутренние в порядке опять,
без изменений необратимых, ведущих к смерти.

Организовано все идеально. Прямой, как аршин,
ветеран с улыбкой торжественно-глуповатой
заботливо шторку задернул. И я остался один.
Вдохнуть. Не дышать. Не перепутать бы... Только цитаты
нас учили подчеркивать, и купированные труды
конспектировать, и на фотопортреты молиться.
Воспринимается как символ вины и беды
имя вычеркнутое, вымаранная страница.

Так, белый листок сложу пополам, теперь голубой...
Выйду, вдохну. Как все просто и буднично даже.
А где же тот малый аршин – слепоглухонемой пионер,
салютующий неслыханной смелости нашей?

1 МАЯ 1985 ГОДА

Сколько стоит достоинство? Да бог с ним. Не лишняя
эта пара отгулов; и в мае, конечно же, кстати...
Хитроумный потомок Юдифи трехаршинную голову Гришина
мимо гробоподобных трибун по площади катит.

Сколько стоит сия голова? О, бесценна, бесценна бесспорно!
Проплывает торжественно под звуки маршей победных
и глядит все какому-то предыдущему в затылок упорно,
предкатящемуся кому-то на легких шинах мопедных.

Есть тшеславие – оно не для смертных – особого рода.
Смертным что? – лишь крутить водяные колеса, левое дело,
и вычерпывать Нил для досрочных поливов чужих огородов.
Никогда не любил тяжелые фризы Абу-Симбела

и двухмерную эту гордыню. Дорогие товарищи, что вы?
Сколько стоит бессмертие? И с кем вы играете в прятки?
Впрочем, как там у вас говорится? – можно принять за основу,
что вас ждут с нетерпением в царстве плоскоголовых...
Впрочем, что-то тележка туго идет по серой брусчатке.

Прокатали. Вдохнем с облегченьем; до ноябрьских
расстанемся;
по чуланам расставим саженные головы старых знакомых.

Сколько стоит наш стыд, если только и знает, что каемся, зарекаемся?.. Но опять – два отгула, два дня невесомых посулят...

**ИЗ КНИГИ
"ТАТАРНИК"
1986-1981**

ЗНАЧЕНИЕ ЗВУКА

* * *

Устами младенца... О, крик этот властный!
О, путь этот тяжкий от выдоха к зову,
от звука к созвучьям, от гласных к согласным,
и к первому, первому, первому слову!

Устами младенца... Пока только лепет,
курлыканье слабое только, кряхтенье.
Кому подражает? – журавлику в небе,
и плеску дождя, и листвы шелестенью.

Мы знали когда-то язык этот, вроде?
Забыли. Ах, что там – в ларце этом тесном,
под темечком круглым – что там происходит,
что копится, зреет во тьме бессловесной?

Не знает. Не помним уже этой муки,
когда так изводит желание речи;
так трудно даются шипящие звуки,
и звонкие звуки даются не легче!

Не помним... Все ждем, все торопим: "когда же?.."
Смешное тшеславие наше лелеем...

Сейчас он проснется и столько расскажет!
А мы и понять ничего не сумеем.

* * *

Как тает слух? Как звуки исчезают?..
Сперва твердишь растерянно: "Простите,
что вы сказали?.. право же, не знаю...
...пожалуйста, еще раз повторите..."

Потом ты начинаешь делать вот что:
досказывать все то, что недослышал...
(Игра была – испорченная почта:
шептать на ухо – и как можно тише.)

А дальше продолжаешь, как придется
домысливать все, что коснется слуха,
выдумывать.

Но рвется, рвется, рвется
связь между звуком и значением звука.

Однако есть музыка под рукою –
а значит, все не так еще печально...
Но как любил я разговор с тобою!
Пустьячный, тихий разговор, случайный.

И этот задыхающийся, грешный,
бессвязный, безоглядный, безотчетный –
твой – жаркий шепоток во тьме кромешной.
Теперь не слышу ничего.

О чем ты?

Ты – звук! Ты лепет, шорох. Говор чаек;
ты плеск волны, шуршание осокой...
Прошай. Я слов твоих не различаю.

Но чувствую в неведеньи высоком,
что старая любовь мне станет мукой,
а новая любовь мне выйдет боком, –
и глухота моя тому порукой.

О глухота моя –
моя морока!

* * *

Спешим! Зайдем скорее место!
Какое празднество для глаз:
военной музыки оркестр
пред нами выступит сейчас.
Они уже почти готовы,
они уже ровняют строй.
Хоругвью воинства святого
горит бунчук над головой.
Тамбурмажор, с усмешкой сноба,
свой жезл вращает у плеча.
Но все ж мы выделим особо
не эту важную особу,
а молодого трубача:

его повадку стеклодува,
и ловкий чуб, и ловкость рук;
как он облизывает губы,
как прочищает он мундштук;
как утирает пот рукою,
в кармане позабыв платок...

Сейчас он выдует такое,
чего б никто другой не смог, –
и выдоху его послушный,
звук затвердеет на лету.
Что это будет – шар воздушный
полуживой, полубездушный?
прозрачный чертик? иль петух
в графине?

Нам итог не важен.
Мы, глядя в мокрое лицо,
продолжим сами и доскажем,
досочиним, в конце концов.

Пахнет морозом и метелью,
потянет воском и смолой,
и мы увидим образ ели
под канителью золотой;

среди весны зима вернется,
прохладой коснется лба...

Вот-вот... уже... сейчас начнется:
взметнется жезл, бунчук качнется,
и что-то выкрикнет труба.
И миг последний, в миг кратчайший
в тревожном возгласе трубы
мы различим мотив шемаши
и отзвук нашей настоящей,
а не придуманной судьбы.

* * *

"...в понятный стих как призрак перельется?"
В.Набоков

То по горам, то по долам,
то прячась по сырым оврагам,
то снова приближаясь к нам
охотничьим упругим шагом;

то исчезая на года
в пустынной зоне пограничной;
под коркой замерзая льда
и погружаясь в сон тепличный... –

о, так суметь в слова облечь
свой путь! И как же нам мечталось
подслушать медленную речь;
запомнить, заучить хоть малость.

Но тает одинокий крик
из синей дали неоглядной.
Нам только снится тот язык
прекрасный, бережный, прохладный.

Он слишком чист для тех, кто рос
другие вызубрив повадки;
для тех, кто шупал жесткий ворс,
разглаживая шинелей складки,

кто с детства ромбики считал
и, пропадая в жизни скудной,
иного языка не знал,
чем этот – каждодневный, мутный.

Цыганский романс

За стенкой гуляют опять – там знакомый распев;
шипенье пластинки, романс надоевший тягучий...
Несложно представить, сонливость свою одолев, –
осенние сумерки, дом деревянный скрипучий.

Не нас ли с тобой ожидает разгульная ночь,
и хор удалой, и седой предводитель с серьгой?
(Как Феденьке бедному горе свое превозмочь?
Сидит, зачарован, щеку подпирая рукою.)

И мы бы могли – как банкноты швыряют в огонь –
спалить свои дни. Но в свечном величальном угаре
кого мы хотим обмануть, раскрывая ладонь
гаданию темному Грушеньки, Машеньки, Вари?

Надтреснутый голос поет. И от ласковых рук
спасения нету; и капают слезы хмельные.
Кого мы жалеем? Себя мы жалеем, мой друг,
когда за окном коченеют луга заливные,
и длится за шторой вечерний, взхлеб, разговор;
и как-то созвучны осенним расхристанным далям
облезлый мотивчик и струн роковых перебор,
и пьяная верность цветастым, потрепанным шалям.

* * *

Любе

Как ты правильно все рассудила:
сомневающийся, невезучий...
Но пока ты итог подводила,
наползла перезрелая туча;
но пока ты решала, гадала,
подбирала последнее слово,
на квадраты бетонных кварталов
Тень упала, как сеть птицелова.
Стало сразу темно и как будто
чуть угарно, как помнишь – на даче
возле печки, обложенной бутом,
той зимою...

Но все же иначе,
потому что среди этой гулкой
тишины, невозможной для слуха,
буйный ветер в безлюдном проулке
поднял смерч тополиного пуха;
и тотчас же вокруг загремело,
и обрушился ливень на крыши...
Даже то, что сказать ты успела,
я не понял уже, не расслышал.

ТАТАРНИК

Каштан цветет

Каштан цветет – не говори: знакомо!..
Белесый сумрак скрадывает тени.
Но в час утраты цвета и объема
нас дарит ночь чредою превращений.
И так – как будто натянули ширму,
и на просвет рисунок монохромный –
каштан цветет – как шелковая Бирма:
сто тысяч пагод, миллион укромных
воздушных ниш; и в каждой вздох и трепет,
и обмиранье сладкое до дрожи..
Вот видишь – это ночь чудит и лепит
и совладеть с объемами не может.
Построенный веселым птичьим гамом,
листвой, и ветром, и пылью цветочной,
то облаком прикинувшись, то храмом,
то колокольней – в завитках – барочной;
то спрятавшись опять за рябью ткани, –
каштан цветет, презрев и смысл и форму,
вне объяснений и обоснований,
вне наших схем и неподъемных формул.

Татарник

Растет где попало; цветет где захочет –
то в сад заберется, левкой пугая,
то хиппи лохматым торчит у обочин,
то чертиком выскочит возле сарая.

Растрепанный, жилистый, склочный, колючий,
задира и ерник; плебейских замашек
своих не чурающийся; невезучий,
извечная жертва мальчишеских шашек.

"А эти мальчишки, – фискалила дочка, –
клубнику у нас воровали на грядке..."
Да что ж за награда – два чахлых кусточка –
за сбитые локти и черные пятки!

Какая-то жизнь – беспризорная будто –
в разводах зеленки, в оранжевых метлах, –
в царапинах, в ссадинах; рвушая путы
привычек, пристрастий, забот и запретов;
блаженно-шальная...

Чего ж нам бояться?
Ухоженных клумб что нам спесь и досада?
Мы тоже, татарник, умеем цепляться
за краешек поля, за краешек сада;
за краешек жизни – живучее племя!
Поверив подначкам, наслушавшись вздора, –
забудем уроки; оставим на время
детей без присмотра, стихи без надзора.

Отдых

Топ-топ-топ... Это дочка ежиком деловитым
по дорожке навстречу подружке протопала. Вот как! –
даже шаг мой унаследовала дробный, сердитый –
то-то будет каблуков сбитых, стертых подметок!

Два пронырливых хвостика... (как волосы порыжели
на солнце!), две морковки за окошком маячат:
– Он туда уполз и отдыхает... – Да неужели?..
– Да. Такой красивый, блестящий... (Не обо мне ли судачат?)

Какой мы славный фильм чуть-чуть за зевотой
не проморгали послеобеденной, за сладкой дремой:
целый час так усердно разыскивают кого-то
(красивого и блестящего!), смешные, шушукаются за домом.

Какая разница – кто там? что там?, когда так радостно
даже с середины смотреть, не впутываясь, не мешая...
Красивый? А хотя бы и так – я могу быть благостным,
ручным зверьком, мохнатым лесным шалопаем;
Блестящим? – пожалуйста, – членистоногим, метким,
чешуекрылым; каким угодно, добрым, злющим...
Как ни назови – только не сгоняй с кушетки.
Лень, шепчу, лень, ленивый полдень – льяной, льнуший.

"Вернись в Сорренто..."

"...В давно забытое родись."

В. Ходасевич

О Doice canto! Largo, lento –
еще томительней, нежней!..
Какой чудак "Вернись в Сорренто"
завел средь ольгинских камней?

Шипит пластинка... Что за чудо! –
нам это снилось, боже мой,
почти в столетии отсюда;
в другие дни, в стране другой,

там, где мы столько раз бывали...
Где отроду нам не бывать!..
О, эти солнечные дали –
шедринской кисти благодать!

О, край цветистых дифирамбов! –
не нам, не с нами, не для нас...
Нам только мерный рокот ямбов
и наших точных рифм запас;

и этот пляж, и рябь залива,
и шорох мокрого песка,
и незабвенного мотива
неизгладимая тоска.

Но всплески разноцветных тентов!..
Но знойная тугая высь!..
...Вернись, вернись, вернись в Сорренто!
И там умри. И вновь родись.

На даче пилим дрова...

Словно завод на сломанном зубе кончается –
шурин, когда точил, чихнул ненароком...
Что-то неважно у нас с тобой получается.
Раз-и!.. Отпускай же пилу... Вот морока!

Что же так пилится трудно? – какое-то месиво
вязкое, ватное.... Да не доводи же до края!..
Раз-и... Кем бы я мог стать, если бы, если бы...
а что, собственно, – "если бы"? Ерунда какая!

Раз-и... если с любовью, конечно... (вот окоlesiца!)
...если с умом... то, конечно, плевое дело...
Балбес, лучше на срез посмотри, – ведь ровесница
тридцатипятилетняя – когда же подгнуть сердцевина успела?

Раз-и!.. Тяни же! Помогай и бедром, и плечиком.
Свободнее! Непринужденности больше и грации!..
...Надо же, я мог бы стать, например, паркетчиком,
краснодеревщиком самой высокой квалификации.

Я мог бы забыть слова свои холодноватые;
забыть, как они пишутся, как произносятся...
Вот жизнь! – не перепилишь – в наружных слоях свилеватая,
а заболонь слабая – сплошная чересполосица.

Судьба составляется из неиспользованных вероятностей,
из обязательств невыполненных, клятв пылких...
Как посмотришь – где что? – одни остаются частности:
пила дефектная, полешки, мусор, слова, опилки.

Росянка

Как сказочно капли блестят! Так и тянет водицы
этой испить. Освежиться. Нельзя, шепчу, – но как хочется!..
Да что ты, комарик, глупыш, самоубийца,
разве не знаешь, чем наслаждение кончится?

Вот тельце твое скользит по буграм и складкам;
нежные руки несут его к душистой могиле...
...А я и не знал, что смерть может быть такой сладкой,
такой заботливой, обволакивающей; без крови и гнили.

Видишь, ведь видишь, – это совсем и не страшно!..
(Так приглашают цыкутой смочить пересохшие губы...)
Ну да, только попробуй, измученный жаждой, –
и все, и влип, как этот комарик глупый.

Нет, не хочу! Не хочу – ни сладкой, ни благоуханной!
Ведь не будет же ничего – ни белого, ни голубого;
ни этих шетинистых листиков с их лаской обманной,
ни этого знойного полдня, ни леса сквозного.

Ну, что ты кричишь? Лист развернулся; останки
сдул ветерок; сияют цветки расписные...
И смерти нет никакой – спроси у росянки –
все это чушь болотная, сказки лесные...

На даче, читая Басе

А. Михалевич

Так зорек поэт – ожидаешь невольно подвоха, секрета...
И все же, поверив печали его многомудрой,
мы сами попробуем так перечислить приметы,
чтоб в раме оконной возникло морозное утро:

следов на снегу непонятный, никем не разгаданный ребус,
(кто ночью бродил здесь – все двери помечены мелом?)
витые канатики дыма пришпилены к небу,
и домики будто подвешены в мареве белом...

Мы долго бы так продолжали. И много б еще насчитали,
пока расчишали дорожку, ведущую к дому,
напрасных сравнений, ненужных сближений, деталей...
Но слишком подробна картина. И слишком знакома.

И там, где Басе обошелся цепочкой одной вертикальной
колючих значков (словно веточка пихты в стакане),
зачем же нам надобно все разъяснить, чтобы тайна
исчезла, рассеялась в нудных столбцах описаний?

Ах, эти ряды наблюдений, подробностей этих, повторов –
следы на снегу – их уже замечает порошей...
Куда ж нам уйти от завьюженных наших просторов,
от наших завянных трактов, дорог и дорожек?

От наших садов неухоженных, гибельных наших тропинок;
от домиков наших, от жара натопленных печек?
Куда же уйти от глухих восклицаний, запинок,
от этой прерывисто-плавной замедленной речи,

когда по наследству достались нам эта размашистость строчек,
и длинных размеров обуза, и рифмы сквозные?..

И долгие зимы. И долгие зимние ночи.

И долгие зимние наши раздумья ночные.

Полночный преферанс

Включили свет. И сразу за окном
сгустилась ночь июльская. Как просто
очерчен круг, над кухонным столом,
освобожденным от клеенки пестрой,
витают дух соперничества острый.
Но поле боя пахнет молоком.

Уют веранды. Тени по углам.
На тумбочке остатки манной каши.
Что? Внук? Балбес? Не слушается старших?
Ну, как же!
Это все знакомо нам...

...Их трое, а четвертый уже там,
где выигравших нет и проигравших.

Расписаны давно – сто лет назад –
их заповеди, байки. Вариаций –
десятка три. Не стоит повторяться.
Покашливание.

Легкий шелест карт.
Под абажуром мотыльки шуршат,
в окошко мухи сонные стучатся.

"Пал Саныч, ты без двух – твоя вина..." –
как будто с того света бормотанье...

Что в прошлом было? – Тишина. Молчанье.
Что в будущем? – Молчанье. Тишина.
Что в прикупе? – вот тайна!
И она куда важнее тайны умиранья.

КОЛЫБЕЛЬ

* * *

Люблю наблюдать за дочуркой – смешной обезьянкой,
макающей кисточку в красное, голубое...
Разводы и кляксы, и пятна – какая приманка
для чутких родителей; предубежденье какое!

Но что мы предвидим? Какие надежды возложим
на неумелые, пухлые детские ручки?
Так пристально смотрим – на что же все это похоже:
все эти каляки-маляки, крючки-закорючки?

Бесстрашные плуты, дурящие головы старшим!..
И я бы отыскивал смысл в их фантазиях смутных,
когда бы не знал, что стоит за тшеславием нашим,
когда бы не ведал о помыслах наших подспудных.

И я бы сердился, талдыча: "Не смешивай краски!",
наверно, завидуя этой свободе без края;
беспечному счастью еще не нуждаться в подсказке,
а может, – уже не нуждаться... Не знаю, не знаю.

Когда-то вот так же и нас опекали без толку,
забыв, что и в нашей неведомой жизни дальнейшей
отсутствие славы – отнюдь не бесславье, а только –
отсутствие славы, всего лишь – ни больше, ни меньше.

Колыбель

Изгиб корабельный и сеть кракелюров на лаке;
текучий орнамент резной, кисея над дутой...
Что делать, скажи, в этом теплом сквозном полумраке?
на листья глядеть и обводов касаться рукой.

С младенчества нас мастерство окружает немое,
и нежность без имени, и ошущенья без слов.
Деревья над нами чуть слышно играют листвою
И тень кружевную бросают на легкий покров:

и чуткая липа, и женственный ясень, и тополь лошений,
и дуб крутолобый, и каменный острый самшит –
как будто пришли пастухи и столпились смущенно,
неловкие, смотрят с испугом, как дитяtko спит.

Как будто бы знают: надолго щедрот невесомых
не хватит. Все кончится плачем, лишь стоит начать
и первое слово составить из звуков знакомых,
и тут же забыть, чтобы целую жизнь вспоминать.

Мыс Фиолент

По тропочке скользим к лагуне голубой,
к заветной тишине, к лазоревой прохладе...
Как вязок этот день! Как сладок этот зной!
Ах, эта резь в глазах – нам с дымкою не сладить.

Что там за цепью скал? – не различает взгляд –
то ль гребешок волны, то ль гребешок триеры...
Там чайки в синеве, как ижицы висят,
замкнув собою ряд классических примеров.

Обманщик Геродот! Не заселен твой мир,
измеренный чредой закатов и восходов,
и полосатый берег – лишь ориентир
для ветреных купцов и смелых мореходов.

О, как пускались в путь, забыв очаг и дом,
от Ольвии степной, от Скифии пустынной
к манящему своим слоеным пирогом,
камнями, чабрецом, настойкою полынной.

Нам этот зуд знаком. О жажда видеть, плыть!
Отважный отпускник на надувном матраце –
одним глазком взглянул – не хватит сил забыть:
последний твой гребок не так уж был опасен.

И можно дальше плыть. И можно жизнь вдохнуть
в полузабытый миф, лукавый и пространный;
дополнить, досказать, досочинить чуть-чуть,
и к свету повернуть, и не найти изъяна.

Живопись на 4/4

Л.Городнишкой

Ну что, душа, попутчица, сестрица, –
там хорошо, где нас и не бывало?
Художнику – изгнание темница,
куда там слепота полуподвалов,
сырых и ветреных мансард простуда!

Решетки эти разве перепилишь?
А мухи одинаковы повсюду,
будь это Соляной иль Гринвич-Виллидж.

Да в том ли дело? В старой книге ребе
твердил: "А все же что-то остается;
бывают и на нашем скорбном небе
одновременно и луна и солнце".

И в небесах пряят жених с невестой,
и булку ест сапожник малахольный...
Как будто есть единственное место;
один на всех мотивчик канифольный;

как будто все смешалось: Витебск, Гомель,
Одесса, Лодзь, Нью-Йорк, места, местечки...
И на листе в подарочном альбоме –
не мы с тобой сидим там на крылечке?

Кувшинчик из Гурджуани

Дарико Беридзе

По дурманящей, терпкой дороге весенней
мимо древних селений, знакомых названий:
Ахашени, где славят лозу ахашени,
Мукузани, где славят лозу мукузани...

В Гурджуани на рынке, где острый, как перец,
дух царит; торг стоит ни на что не похожий,
в закутке у забора народный умелец
мне предложит на выбор товар свой расхожий.
Вот кувшинчик, смотри, как он прочен – не треснет.
Ты монеткой постукай – в ответ музыкальный
звон серебряный, как подголосок той песни,
что хмельные грузины все тянут в хинкальной.
Ты водой ключевой кувшинчик наполни –
ведь в дороге вода не бывает обузой...
Погляди, как пригож: со следами ладони,
запотевший, холодный, слегка косопузый.

Ах, гончар, я куплю, не торгуясь с тобою,
твой товар со следами мозолистой длани.
Ты так стар. И такая гудит за спиною
непроглядная бездна времен и преданий;
так нежна эта песня над синей долиной,
и в вине привкус крови и бедной обедни;
и нетрудно понять: этим песням и винам
возраст тот же, что глине в лошине соседней.

Что во прах обратится и глиною станет,
и быльем порастет – все вернется однажды:
и пастушья дуда, и базар в Гурджуани,
и волшебный сосуд, утоляющий жажду.
Все вернется. Опять этот день повторится.
И не стоит скупиться, поскольку в итоге:
и кувшинчик поет, и дорога струится,
и весна, и ткемали цветет по дороге.

Пиросмани

А день, как всегда, начинался с вина. А потом
вином и кончался. И глупый духаншик в каморку
влетал, возмущенно вопя: "О художник! Что толку
от этих фантазий, так густо залитых вином?!"

Ответь мне, Нико, что ты в женщине этой нашел?
Зачем в волосах у нее голубая гвоздика?.." –
Э-э, ладно». Все краски мои здесь – и сажа и синька...
Да вот вам пейзаж: пароход, паровоз и осел.

Давайте посмотрим, как трудится щедрый Нико:
он пишет застолье – богатых друзей именины.
Вот горы, вот стол, за столом веселятся грузины;
их; раз – Бего, два – Бего, три – Бего,.. – восемь Бего!

Нико нелегко. А когда ему было легко?
Он дерево пишет – чинару, под нею барашка.
Барашек большой и курчавый, а рядом с букашку
плохой человек – ну, конечно, мерзавец Бего.

А кто это там на горе далеко, высоко
огромный и добрый, как бог, и с густыми усами?
– Да что вы, кинто, неужели не видите сами?
Мой друг замечательный!
– Кто же?
– Красавец Бего!

А в нижнем углу помешает себя самого
Нико – он рисует: выходит органшик носатый;
парит Маргарита – пышна, грациозна, усата.
И, видимо, очень хорошая эта Марго.

– Добрейший Нико!.. – Ах, оставьте в покое меня!
– Мудрейший Нико!.. – Принесли бы хоть гроздь винограда!
– Послушай, Нико, объясни-ка... – что вам еще надо?..
– зачем это звезды горят среди белого дня?

– Какие смешные вы! Право, не все ли равно –
горят и горят. Я их видел... и что тут такого?
И вам подтвердит это тот рыболов бестолковый,
своею рубахой всех рыб распугавший давно,
и та же компания этих кинто непутевых,
что тянут из тех же кувшинов все то же вино.

* * *

Насте, когда она вырастет

Между первым – на ощупь – касанием клавиш и кодой
то ли час пролетел, то ли век, то ли несколько дней? –
не понять. Наша девочка – плакса – два с четвертью года:
"Мальчик Моцарт! – кричит. – Приходи, возвращайся скорей!"

И откуда взяла – "мальчик Моцарт!" Заходится в плаче.
Словно нам не хватало опухших носов, мокрых щек...
Это вовсе не он. Успокойся. Другой это мальчик –
вундеркинд, юный гений, упрямый лобастый бычок.

Телевизор приблизил к нам взгляд диковатый и строгий,
и худые запястья в колодце крахмальных манжет...
Длинноруким подросткам, которых отметили боги,
узковаты рубашки и коротки брючки уже.

Как за них не дрожать? Боже мой, как за них не бояться?
Ведь в обмен на привычный, молочный, семейный уют
им природа дала удивительно гибкие пальцы,
тонкий слух; а в награду – мучительно-радостный труд.

И в заполненной музыкой паузе краткой, в просвете
между двух полюсов немоты – век пройдет или час? –
о, как щедро, блаженно и трудно живут эти дети!
О, как быстро взрослеют, как рано уходят от нас!

* * *

А Пурину

Ни вшивых траншей, ни брусиловских дерзких атак;
ни Пруса, ни Марны, ни черных днестровских степей...
Еще Франц-Иосиф приветствует сизых гуляк
во всех кабаках полоумной державы своей.

О, Габсбургов райские куши; фамильный картуш,
зеленый мундир с галунами, и блеск палашей;
напыщенный вздор Айзенштайна, певучая чушь
цыганских баронов, Мариц и Летучих мышей.

Чужая сквозь шелку глядит франтоватая спесь...
В беседке герои писклявый закончили спор...
Как нас приучили глотать эту сладкую смесь
скрипичных концертов, мазурок и звяканья шпор!

Кто жизнь истребляет, кто так развращает умы,
подсунув, и нишим доступный, пустой идеал, –
что вырубка Пратера больше волнует, увы,
чем собственных наших угодий разор и развал?

Как будто мы спим до сих пор... (Что нам дался Дунай!)
Как будто душа под мышиним шинельным сукном
все ждет отпеванья и вечного пропуска в рай...
...Какой там Брусилов? – ну, кто теперь помнит о нем!

Фотография с афишной тумбой

Узорчатый бордюр и кованный колпак;
смесь пагоды, ларька и башни крепостной...
Последний мирный год. Беспечная толпа гуляет.
На углу торчит городской.

Фотограф-чародей, как ты развеял дым
фабричных труб, когда и глаз не разлепить?
Здесь так светло, что мы без лупы разглядим,
что в городском саду имеет место быть!

А в городском саду в субботу ровно в шесть
имеет место быть великий смотр невест,
поскольку ровно в шесть имеет смелость петь
заезжий баритон под духовой оркестр.

А в среду бенефис мадемуазель Нинель;
вот томный взгляд ее, вот стан – стройней лозы!
Вот мушка на щеке... Вот – для потехи ей
беспутник-гимназист пририсовал усы.

Как глупо, как смешно! Но в том-то и резон,
что протекает жизнь на фоне страшных дней
трагедий мировых; и чем страшнее фон,
тем праздничней толпа и лица веселей.

Успеть бы поглазеть на рыжих в шапиту!..
Мир не беспечен, пет, – беспечен этот миг,
запечатленный вдруг. История – не то,
верней, не только то, что вычитал из книг.

На берег наших дней что вынесут века
из множества примет?.. Царапнула картечь
здесь – понизу. И вот – оборвана строка.
А мы все знать хотим, о чем там дальше речь...

О ЛЮДЯХ НА МОСТУ...

* * *

Жизнь с видом на трамвайный парк
по-своему прелестна:
в шестом часу утра ваш сон разрушит женский крик
"Эй, Клавка, так-твою-растак! Тебе на стрелке тесно?
Куда ты прешь на третий путь? Сворачивай в тупик!"

Тяжелые, как утюги, чугунные, литые
взлетают к небу матюги... (О, женские уста –
медоточивые в ночи; безумные, простые,
бессмысленные слова шептавшие...)

До ста
я сосчитал и не заснул. И выглянул: ну, что же
они в такую рань так зло, пронзительно визжат?
В своих жилетках на хурму созревшую похожи.
О, экзотических плодов нездешний аромат!

Там в тихих южных городках, где не гремят трамваи,
где так спокоен сон в саду, так мягок теплый мрак..
"Как славно было бы.-" – шепчу, окошко закрывая.
Как сладко было бы, легко, немужественно как!

Твой сосед по палате

Отцу

Не представляю его молодым в галифе с зашипами.
во френче глухом; перетянутым портупеей..
На цыпленка бройлерного похож – ошипанной
головой, глазами тусклыми, дряблой шеей.

И каждое утро: – Вы мои челюсти не видали?..
– Благодарствую, – говорит, на сестричку смотрит растроганно.
В знак особого расположения показывает медали,
и осуждает строго порядки режима нестроного:

вот ведь – и курят, и пьют, и анекдоты травят такие,
хоть сейчас к стенке ставь. И улыбаясь мечтательно:
– Эх, не достреляли маленько! А были ребята лихие
в системе нашей – работали замечательно!

Ну, да! – вагоны битком набитые, бараки вшивые,
закрытые зоны – на полстраны лепрозорий..
Неужели такие вот старикашки плешивые
и виноваты в нашем страхе, в нашем позоре?

Неужели уже черту подвели, все подытожили:
грехи отпустили, не отмерили по справедливости?..
И чего же я слушаю, уши развесил? Ах, что же
я не чувствую ничего: ни ненависти, ни брезгливости!..

* * *

Что за названия: Мытнинский, Перекупной!
Смутные мысли о плате вперед, о закладе...
("Брось медяки на дорогу и следуй за мной..." –
древнюю притчу о мытаре вспомнишь некстати.)

Есть что-то нишее в этих проулках сырых,
в этих кварталах меж Лаврой и Смольным зажатых;
что-то стыдливое: вроде бы знаем о них,
но не решимся идти туда без провожатых.
Вроде нехватка каких-то привычных вещей:
портиков, пандусов, белых колонн, капителей...
В общем, знакомо – наш город по сути своей
город-двойник: два яйца у него, две модели.

Церкви, подворья, приюты. Под серым дождем
кажется, будто все те же они и сегодня.
Да ведь и сами мы в бывшем приюте живем,
где из киота сто лет как украден угодник.
Может, поэтому странная тяга у нас
к долгим бесцельным походам сюда – на задворки..
Что декорации, если б не этот каркас,
эти пропахшие гарью и дегтем подпорки!

* * *

...Века минуют. И журнальчик этот,
случайно из архива извлеченный,
приобретет значение раритета.
В нем обнаружит вдумчивый ученый
текст непонятный на бумаге серой;
столбцы условных знаков, сокращений;
загадочный, как клинопись Шумера,
язык обычных наших объявлений.
Потратит жизнь, но въедливый, упрямый
знаток времен для пониманья трудных,
он расшифрует эти криптограммы
и поразится нашей жизни чудной.

Ах, неужели, избежавший тлена,
такой бесценный памятник эпохи –
обыкновенный справочник обменный?..

Еще полгода, год... и, несомненно,
нам повезет... Дела не так уж плохи.

Новый заезд

С утра – тяжелая, ватная, муторная, как недосып,
тишина, будто и не было вчерашней беготни; стирки, варки.
Говорят почему-то вполголоса. Поглядывают на часы.
Коридорные ходят неподкупные, словно Парки.

Сейчас подкатит к главному корпусу, тормозами визжа;
остановится красный автобус, и выбежит администратор дежурный
с улыбкой дежурной, но только лишь скажет: "Добро пожа...",
как поднимется гвалт – ни слова не разберем из речи его мажорной.

И в неразберихе теряются чемоданы, путевки; забываются паспорта,
дети убегают к морю; неправильно заполняются карты...
Господи, это же старой комедии ошибок знакомая маята –
неразрешимая путаница бесконечная до задыхания, до инфаркта.

Все думаешь: скорей бы уже комедии этой конец,
а там – обязательно – двойная свадьба, а то и тройная,
и все разрешится благополучно, и близнеца узнает близнец,
и вечный старец из Сиракуз – их отец, вот радость какая!

Финала ждешь с нетерпением. И вот уже детишек нашел
ловкий администратор. И выдаются ключи как награда актерам.
Снимают маски. Стирают грим. Расходятся по номерам.
Хорошо, что все хорошо кончается, и мы не склонны к повторам.

Из больничной тетради

Не страшно ночью – страшно днем,
когда хромированный складень
и злые инструменты в нем
горят мучительным огнем...
– Всего шесть операций за день...
– Сегодня мы не попадем...

О тихий, кафельный бедлам:
еда, питье и сон острожный...
И здесь все то же, что и там –
за стенами – к очередям
привычка, к ссорам осторожным.

Чем здесь торгуют? Кто за кем
стоит?.. сидит?.. Кто здесь последний?..
Кому печаль мою повем;
тоску двух-трех обрыдлых тем,
больничных присказок и бредней?

– Здесь был один из Риги гусь, –
представь себе – сбежал. Уехал.
Такой бугай... и трус! Потеха!..
– Я сам не то, чтобы боюсь,
но опасаюсь неуспеха...
– Не трусь...
– Да я...
– Вот и не трусь...

Вот и не бойся. И плечом,
в прохладный кафель упираясь,
сведи за вежливым врачом,
за зеркальцем и за лучом,
не сетуя, не удивляясь,
и не жалея ни о чем.

Играют жмур

Играет жмур оркестрик заваливший –
свидетели печали предстоящей:
труба, кларнет, валторна, флейта, бас.
Как врут они – земля гудит от фальши!
Торопятся, сбиваются... и дальше
все тянут жуткий, лживый парафраз.

Последний домик... струганные падуги...
Ни слов, ни слез – все глушат эти лабухи.
Распорядитель машет ручкой издали –
за все уплачено! Дудите, бездари!

Что мертвому вся эта канитель?
Уложенный в сосновую постель,
бесстрастный – о, высокомерье трупа! –
он знать не знает, что над ним трубят,
сопровождая муторный обряд,
полухмельные ангелы в тулупах.

За воем труб оставшийся неназванным,
прости-прошай. Но если уж отказано
в последнем слове и в последнем плаче нам –
рыдайте ангелы! За все уплачено.

* * *

О чем? Да обо всем: о людях на мосту,
что мокнут под дождем. И, видимо, напрасно
они весь день торчат, как стражи на посту,
а смены нет и нет. И совершенно ясно,

что клева тоже нет. И нечего ловить.
И дождик все сильнее стучит по капюшонам.
И как не надоест им день-деньской курить,
и черта поминать, и взглядом отрешенным

за поплавком следить. А город за спиной
вот-вот огни зажжет. Почти что бестелесны
уже фигуры их за мокрой пеленой.
Но мы чего-то ждем. Но все же интересно:

а вдруг, в конце концов, удача им блеснет
за верность, за азарт, за труд их безрассудный.
А там, глядишь, и нам случайно повезет
затем, что не всегда и мы благоразумны.